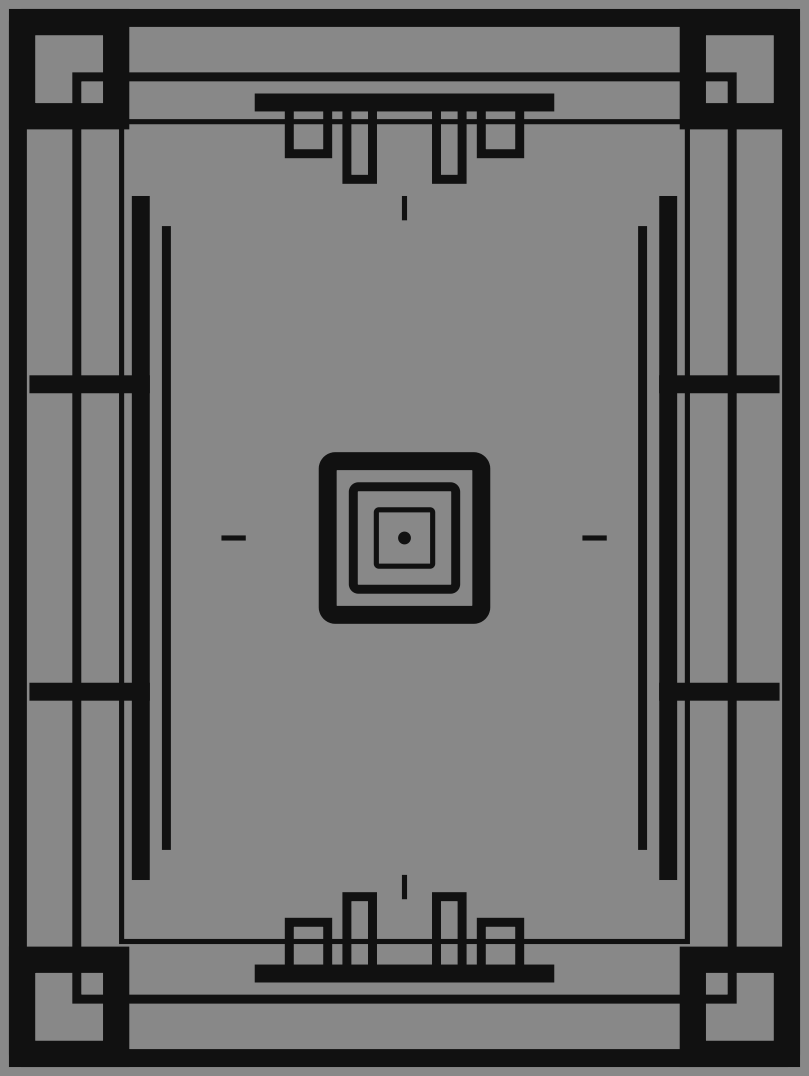

Учитель словесности

Антон Павлович Чехов

Аннотация
Антон Павлович Чехов. Учитель словесности
I
II

Аннотация

Молодой учитель гимназии Никитин частенько бывает в доме Шелестовых, где влюбляется в младшую дочь хозяина Маню. Сделав ей предложение и женившись на ней, он, как ему казалось, обрел свое счастье. Но по прошествии некоторого времени он меняет свое мнение.

© alexedin

Антон Павлович Чехов
Учитель словесности

I

Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:

— Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!

Маша Шелестова была самой младшей в семье; ей было уже 18 лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа.

— Опля! — крикнула она, садясь на Великана.

Сестра ее Варя села на Майку, Никитин — на Графа Нулина, офицеры — на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрея белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора.

Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она

озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:

— Вы, Сергей Васильич, держите его все время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется.

И оттого ли, что ее Великан был в большой дружбе с Графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал:

«Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней…»

Был седьмой час вечера — время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на

вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, — тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!

Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено, только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь.

Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.

— У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю, — говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. — Но она бракованная. Совсем уж некстати это белое пятно на левой ноге и, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет.

Манюся была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда

находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно все равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом; он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам.

Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями, видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил:

— Вы изволили на каникулы приехать?

— Нет, я здесь постоянно живу, — ответил Никитин. — Я служу преподавателем в гимназии.

— Неужели? — удивился доктор. — Так молоды и уже учительствуете?

— Где же молод? Мне 26 лет… Слава тебе господи.

— У вас и борода и усы, но все же на вид вам нельзя дать больше 22–23 лет. Как вы моложавы!

«Что за свинство! — подумал Никитин. — И этот считает меня молокососом!»

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять.

Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари.

Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода — все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо.

Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал.

— Это хамство! — говорил он. — Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с!

Никитину с тех пор, как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых: и дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек, да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных

было так много, что за все время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать только двух: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидела; увидев его, она всякий раз склоняла голову набок, скалила зубы и начинала: «ррр… нга-нга-нга-нга… ррр…»

Потом садилась под стул. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем, а хозяева говорили:

— Не бойтесь, она не кусается. Она у нас добрая.

Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом, жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. Это был добрый глупый пес, но Никитин терпеть его не мог за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкал по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюк от пятен.

После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и мол-

ча, перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Ей было уже 23 года, она была хороша собой, красивее Манюси, считалась самою умной и образованной в доме и держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе, офицеров величала по фамилии, на Манюсю глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старою девой — значит, была уверена, что выйдет замуж.

Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть — ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает: «Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное!»

Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако, я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы третьего отделения. Поздравляю вас».

Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос: «Это старо!» или: «Это плоско!» Если же острит офицер, то она делает

презрительную гримасу и говорит: «Арррмейская острота!»

И это «ррр»… выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стула: «ррр… нга-нга-нга»…

Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.

— Позвольте, Сергей Васильич, — перебила его Варя. — Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам VIII класса сочинение на тему: «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский — другое дело, а Пушкин великий поэт и больше ничего.

— Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе, — угрюмо ответил Никитин.

— Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?

— А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры.

И Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», потом из «Бориса Годунова».

— Никакой не вижу тут психологии, — вздох-

нула Варя. — Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.

— Я знаю, какой вам нужно психологии! — обиделся Никитин. — Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилою палец и чтобы я орал во все горло, это, по-вашему, психология.

— Плоско! Однако, вы все-таки не доказали мне: почему же Пушкин психолог?

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое: он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола, потом сел поодаль.

За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.

— Это хамство! — доносилось с другого конца стола. — Я так и губернатору сказал: это, ваше превосходительство, хамство!

— Я больше не спорю! — крикнул Никитин. — Это его же царствию не будет конца! Баста! Ах, да поди ты прочь, поганая собака! — крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову и лапу.

«Ррр… нга-нга-нга»… — послышалось из-под стула.

— Сознайтесь, что вы не правы! — крикнула Варя. — Сознайтесь!

Но пришли гостьи-барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадриль с grand-rond, которое провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский, потом опять стали танцевать вальс.

Старики во время танцев сидели в зале, курили и смотрели на молодежь. Между ними находился и Шебалдин, директор городского кредитного общества, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Он положил начало местному «Музыкально-драматическому кружку» и сам принимал участие в спектаклях, играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев «Грешницу». Звали его в городе мумией, так как он был высок, очень

тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство он любил так искренно, что даже брил себе усы и бороду, а это еще больше делало его похожим на мумию.

После grand-rond он нерешительно, как-то боком подошел к Никитину, кашлянул и сказал:

— Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Вполне разделяю ваше мнение. Мы с вами единомышленники, и мне было бы очень приятно поговорить с вами. Вы изволили читать «Гамбургскую драматургию» Лессинга?

— Нет, не читал.

Шебалдин ужаснулся и замахал руками так, как будто ожег себе пальцы, и, ничего не говоря, попятился от Никитина. Фигура Шебалдина, его вопрос и удивление показались Никитину смешными, но он все-таки подумал:

«В самом деле неловко. Я — учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть».

Перед ужином все, молодые и старые, сели играть в «судьбу». Взяли две колоды карт: одну сдали всем поровну, другую положили на стол рубашкой вверх.

— У кого на руках эта карта, — начал торже-

ственно старик Шелестов, поднимая верхнюю карту второй колоды, — тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней.

Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шебалдина. Все гурьбой окружили его, повели в детскую и со смехом, хлопая в ладоши, заставили поцеловаться с няней. Поднялся шум, крик…

— Не так страстно! — кричал Шелестов, плача от смеха. — Не так страстно!

Никитину вышла судьба исповедовать всех. Он сел на стул среди залы. Принесли шаль и накрыли его с головой. Первой пришла к нему исповедоваться Варя.

— Я знаю ваши грехи, — начал Никитин, глядя в потемках на ее строгий профиль. — Скажите мне, сударыня, с какой это стати вы каждый день гуляете с Полянским? Ох, недаром, недаром она с гусаром!

— Это плоско, — сказала Варя и ушла.

Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза, обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюси.

— Мария Годфруа, — сказал он и не узнал своего

голоса — так он был нежен и мягок, — в чем вы грешны?

Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка, потом засмеялась и ушла. А через минуту она уже стояла среди залы, хлопала в ладоши и кричала:

— Ужинать, ужинать, ужинать!

И все повалили в столовую.

За ужином Варя опять спорила и на этот раз с отцом. Полянский солидно ел, пил красное вино и рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, всю ночь простоял по колено в болоте; неприятель был близко, так что не позволялось ни говорить, ни курить, ночь была холодная, темная, дул пронзительный ветер. Никитин слушал и косился на Манюсю. Она глядела на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чем-то или забылась… Для него это было и приятно, и мучительно.

«Зачем она на меня так смотрит? — мучился он. — Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода, как наивна!»

Гости стали расходиться в полночь. Когда Никитин вышел за ворота, во втором этаже дома хлопнуло окошко и показалась Манюся.

— Сергей Васильич! — окликнула она.

— Что прикажете?

— Вот что… — проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать. — Вот что… Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Надо будет собраться.

— Хорошо.

Манюся скрылась, окно хлопнуло, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле.

«Ну, дом! — думал Никитин, переходя через улицу. — Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!»

Но не у одних только Шелестовых жилось весело. Не прошел Никитин и двухсот шагов, как и из другого дома послышались звуки рояля. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика, играющего на балалайке. В саду оркестр грянул попурри из русских песен…

Никитин жил в полуверсте от Шелестовых, в квартире из восьми комнат, которую он нанимал за триста рублей в год вместе со своим товарищем, учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Этот Ипполит Ипполитыч, еще не старый человек, с рыжею бородкой, курносый, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным, когда вернулся

домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт, а по истории знание хронологии; по целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц или же составлял хронологические таблички.

— Какая сегодня великолепная погода! — сказал Никитин, входя к нему. — Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате.

Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый; он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь он ответил так:

— Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будет настоящее лето. А лето не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна, и все-таки тепло, а зимою — двойные рамы, и все-таки холодно.

Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.

— Спокойной ночи! — сказал он, поднимаясь и зевая. — Хотел было я рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы — география! Начнешь вам о любви, а вы сейчас: «В каком году была битва при Калке?» Ну вас к черту

с вашими битвами и с Чукотскими носами!

— Что же вы сердитесь?

— Да досадно!

И, досадуя, что он не объяснился еще с Манюсей и что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, он пошел к себе в кабинет и лег на диван. В кабинете было темно и тихо. Лежа и глядя в потемки, Никитин стал почему-то думать о том, как через два или три года он поедет зачем-нибудь в Петербург, как Манюся будет провожать его на вокзал и плакать; в Петербурге он получит от нее длинное письмо, в котором она будет умолять его скорее вернуться домой. И он напишет ей… Свое письмо начнет так: милая моя крыса…

— Именно, милая моя крыса, — сказал он и засмеялся.

Ему было неудобно лежать. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть, на дворе заголосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся и, вскрикнув от радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, он схитрит: приедет ночью потихоньку, кухарка отворит ему, потом на цыпочках пройдет он в спальню, бесшумно

разденется и — бултых в постель! А она проснется и — о радость!

Воздух совсем побелел. Кабинета и окна уж не было. На крылечке пивоваренного завода, того самого, мимо которого сегодня проезжали, сидела Манюся и что-то говорила. Потом она взяла Никитина под руку и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шебалдин и громко крикнул: «Вы не читали Лессинга!»

Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитыч и, откинув назад голову, надевал галстук.

— Вставайте, пора на службу, — говорил он. — А в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. Спать надо в постели, раздевшись…

И он, по обыкновению, стал длинно и с расстановкой говорить о том, что всем давно уже известно.

Первый урок у Никитина был по русскому языку, во втором классе. Когда он ровно в девять часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были написаны мелом две большие буквы: М. Ш. Это, вероятно, значило: Маша Шелестова.

«Уж пронюхали, подлецы… — подумал Ники-

тин. — И откуда они все знают?»

Второй урок по словесности был в пятом классе. И тут на доске было написано М. Ш., а когда он, кончив урок, выходил из этого класса, сзади него раздался крик, точно в театральном райке:

— Ура-а-а! Шелестова!!

От спанья в одежде было нехорошо в голове, тело изнемогало от лени. Ученики, каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились, шалили от скуки. Никитин тоже томился, не замечал шалостей и то и дело подходил к окну. Ему была видна улица, ярко освещенная солнцем. Над домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, бесконечная даль с синеющими рощами, с дымком от бегущего поезда…

Вот по улице в тени акаций, играя хлыстиками, прошли два офицера в белых кителях. Вот на линейке проехала куча евреев с седыми бородами и в картузах. Гувернантка гуляет с директорскою внучкой… Пробежал куда-то Сом с двумя дворняжками… А вот, в простеньком сером платье и в красных чулочках, держа в руке «Вестник Европы», прошла Варя. Была, должно быть, в городской библиотеке…

А уроки кончатся еще не скоро — в три часа! После же уроков нужно идти не домой и не к Шелестовым, а к Вольфу на урок. Этот Вольф, богатый еврей, принявший лютеранство, не отдавал своих детей в гимназию, а приглашал к ним гимназических учителей и платил по пяти рублей за урок…

«Скучно, скучно, скучно!»

В три часа он пошел к Вольфу и высидел у него, как ему показалось, целую вечность. Вышел от него в пять часов, а в седьмом уже должен был идти в гимназию, на педагогический совет — составлять расписание устных экзаменов для IV и VI классов!

Когда, поздно вечером, шел он из гимназии к Шелестовым, сердце у него билось и лицо горело. Неделю и месяц тому назад всякий раз, собираясь объясниться, он приготовлял целую речь с предисловием и с заключением, теперь же у него не было наготове ни одного слова, в голове все перепуталось, и он только знал, что сегодня он *наверное* объяснится и что дольше ждать нет никакой возможности.

«Я приглашу ее в сад, — обдумывал он, — немножко погуляю и объяснюсь»…

В передней не было ни души; он вошел в залу,

потом в гостиную… Тут тоже никого не было. Слышно было, как наверху, во втором этаже, с кем-то спорила Варя и как в детской стучала ножницами наемная швея.

Была в доме комнатка, которая носила три названия: маленькая, проходная и темная. В ней стоял большой старый шкап с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут двери: одна в детскую, другая — в гостиную. Когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница и шкап; вбежала Манюся в темном платье, с куском синей материи в руках, и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице.

— Постойте… — остановил ее Никитин. — Здравствуйте, Годфруа… Позвольте…

Он запыхался, не знал что говорить; одною рукой держал ее за руку, а другою — за синюю материю. А она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами.

— Позвольте… — продолжал Никитин, боясь, чтоб она не ушла. — Мне нужно вам кое-что сказать… Только… здесь неудобно. Я не могу, не в

состоянии… Понимаете ли, Годфруа, я не могу… вот и все…

Синяя материя упала на пол, и Никитин взял Манюсю за другую руку. Она побледнела, зашевелила губами, потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкапом.

— Честное слово, уверяю вас… — сказал он тихо. — Манюся, честное слово…

Она откинула назад голову, а он поцеловал ее в губы и, чтоб этот поцелуй продолжался дольше, он взял ее за щеки пальцами; и как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкапом и стеной, а она обвила руками его шею и прижалась к его подбородку головой.

Потом оба побежали в сад.

Сад у Шелестовых был большой, на четырех десятинах. Тут росло с два десятка старых кленов и лип, была одна ель, все же остальное составляли фруктовые деревья: черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина… Много было и цветов.

Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали изредка друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали, а над садом светил полумесяц и на земле из темной

травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви.

Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Опять Полянский водил по всем комнатам grand-rond, опять после танцев играли в судьбу. Перед ужином, когда гости пошли из залы в столовую, Манюся, оставшись одна с Никитиным, прижалась к нему и сказала:

— Ты сам поговори с папой и Варей. Мне стыдно…

После ужина он говорил со стариком. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал:

— Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери, но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен с джентльменом. Скажите, пожалуйста, что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано, но там, известно, хамство, а вы-то с чего? Что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы?

— Я вовсе не молод! — обиделся Никитин. — Мне 27-й год.

— Папа, коновал пришел! — крикнула из дру-

гой комнаты Варя.

И разговор прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянский. Когда подошли к его калитке, Варя сказала:

— Что это ваш таинственный Митрополит Митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел.

Таинственный Ипполит Ипполитыч, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны.

— Не ложитесь, голубчик! — сказал ему Никитин, задыхаясь. — Постойте, не ложитесь!

Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно:

— Что такое?

— Я женюсь!

Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал:

— Представьте, женюсь! На Маше Шелестовой! Сегодня предложение сделал.

— Что ж? Она девушка, кажется, хорошая. Только молода очень.

— Да, молода! — вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами. — Очень, очень молода!

— Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю.

По географии училась ничего себе, а по истории — плохо. И в классе была невнимательна.

Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утешительное.

— Голубчик, отчего вы не женитесь? — спросил он. — Ипполит Ипполитыч, отчего бы вам, например, на Варе не жениться? Это, чудная, превосходная девушка! Правда, она очень любит спорить, но зато сердце… какое сердце! Она сейчас про вас спрашивала. Женитесь на ней, голубчик! А?

Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека, но все-таки убеждал его жениться на ней. Зачем?

— Женитьба — шаг серьезный, — сказал Ипполит Ипполитыч, подумав. — Надо обсудить все, взвесить, а так нельзя. Благоразумие никогда не мешает, а в особенности в женитьбе, когда человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь.

И он заговорил о том, что всем давно уже известно. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе. Он быстро разделся и быстро лег, чтобы поскорее начать думать о своем счастии, о Манюсе, о будущем, улыбнулся и вдруг вспомнил,

что он не читал еще Лессинга.

«Надо будет прочесть… — подумал он. — Впрочем, зачем мне его читать? Ну его к черту!»

И утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра.

Снился ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; снилось, как из конюшни вывели сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку…

II

«В церкви было очень тесно и шумно, и раз даже кто-то вскрикнул, и протоиерей, венчавший меня и Манюсю, взглянул через очки на толпу и сказал сурово:

— Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страх божий иметь.

Шаферами у меня были два моих товарища, а у Мани — штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный, воздушный вид у Мани, и вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез, наполняли торжеством. Я думал: как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь! Два года назад я был еще студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я — учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня вот, думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят три

паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие, и для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моею женой. Я вспомнил первые встречи, наши поездки за город, объяснение в любви и погоду, которая, как нарочно, все лето была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинном представлялось мне возможным только в романах и повестях, теперь я испытывал на самом деле, казалось, брал его руками.

После венчания все в беспорядке толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствие, поздравляли и желали счастья. Бригадный генерал, старик лет под семьдесят, поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим скрипучим голосом, так громко, что пронеслось по всей церкви:

— Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь все таким же розаном.

Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитыч, учитель истории и географии, всегда говорящий то, что всем давно известно, крепко пожал мне руку и сказал с чувством:

— До сих пор вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоем.

Из церкви поехали в двухэтажный нештукатуренный дом, который я получаю теперь в приданое. Кроме этого дома, за Маней деньгами тысяч двадцать и еще какая-то Мелитоновская пустошь со сторожкой, где, как говорят, множество кур и уток, которые без надзора становятся дикими. По приезде из церкви, я потягивался, развалясь у себя в новом кабинете на турецком диване, и курил; мне было мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни, а в это время гости кричали «ура», и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. Варя, сестра Мани, вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным, напряженным выражением, точно у нее рот был полон воды; она, по-видимому, хотела бежать дальше, но вдруг захохотала и зарыдала, и бокал со звоном покатился по полу. Мы подхватили ее под руки и увели.

— Никто не может понять! — бормотала она потом в самой дальней комнате, лежа на постели у кормилицы. — Никто, никто! Боже мой, никто не может понять!

Но все отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и все еще не замужем

и что плакала она не из зависти, а из грустного сознания, что время ее уходит и, быть может, даже ушло. Когда танцевали кадриль, она была уже в зале, с заплаканным, сильно напудренным лицом, и я видел, как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым, а она кушала ложечкой…

Уже шестой час утра. Я взялся за дневник, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думал, что напишу листов шесть и завтра прочту Мане, но, странное дело, у меня в голове все перепуталось, стало неясно, как сон, и мне припоминается резко только этот эпизод с Варей и хочется написать: бедная Варя! Вот так бы все сидел и писал: бедная Варя! Кстати же зашумели деревья: будет дождь; каркают вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо».

Потом Никитин долго не трогал своего дневника. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а после Успеньева дня — классные занятия. Обыкновенно в девятом часу утра он уходил на службу и уже в десятом начинал тосковать по Мане и о своем новом доме и посматривал на часы. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков

диктовать и, пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал; мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом — все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, в воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором:

— Как хорошо!

Во время большой перемены Маня присылала ему завтрак в белой, как снег, салфеточке, и он съедал его медленно, с расстановкой, чтобы продлить наслаждение, а Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное, вроде:

— Без пищи люди не могут существовать.

Из гимназии Никитин шел на частные уроки, и когда наконец в шестом часу возвращался домой, то чувствовал и радость и тревогу, как будто не был дома целый год. Он вбегал по лестнице, запыхавшись, находил Маню, обнимал ее, целовал и клялся, что любит ее, жить без нее не может, уверял, что страшно соскучился, и со страхом спрашивал ее, здорова ли она и отчего у нее такое

невеселое лицо. Потом вдвоем обедали. После обеда он ложился в кабинете на диван и курил, а она садилась возле и рассказывала вполголоса.

Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенья и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти дни он принимал участие в наивной, но необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии. Он не переставая наблюдал, как его разумная и положительная Маня устраивала гнездо, и сам тоже, желая показать, что он не лишний в доме, делал что-нибудь бесполезное, например, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и все это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока; она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил:

— Ну, ну, я пошутил, золото мое! Пошутил!

Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя в шкапу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыру, говорила с важностью:

— Это съедят в кухне.

Он замечал ей, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку, а она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь, пошли ей в кухню хоть три пуда закусок, и он соглашался и в восторге обнимал ее. То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно.

Иногда на него находил философский стих, и он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством.

— Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость, — говорил, он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. — Но на это свое счастье я не смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье — явление вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность

— все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью…

В октябре гимназия понесла тяжелую потерю: Ипполит Ипполитыч заболел рожей головы и скончался. Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:

— Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…

В тот день, когда его хоронили, учения в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святой боже». В процессии участвовало три священника, два дьякона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили:

— Дай бог всякому так помереть.

Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал:

«Сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкого.

Мир праху твоему, скромный труженик! Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренно плакали, быть может, оттого, что знали,

что этого неинтересного, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может не понравиться директору, так как он не любил покойного. После свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душе…»

Затем во весь учебный сезон не было никаких особенных событий.

Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом; под Крещенье, например, всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему, и текло с крыш, а утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку, так как, говорили, лед надулся и потемнел. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось так же счастливо, как и летом. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение: он научился играть в винт. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мешало ему быть вполне счастливым: это кошки и собаки, которых он получил в приданое. В комнатах всегда, особенно по утрам, пахло, как в зверинце, и этого запаха ничем нельзя было заглушить; кошки часто дрались с собаками. Злую Мушку кормили по десяти раз в день, она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него:

— Ррр… нга-нга-нга…

Как-то Великим постом в полночь возвращался он домой из клуба, где играл в карты. Шел дождь, было темно и грязно. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, отчего это: оттого ли, что он проиграл в клубе двенадцать рублей, или оттого, что один из партнеров, когда расплачивались, сказал, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно, намекая на приданое? Двенадцать рублей было не жалко, и слова партнера не содержали в себе ничего обидного, но все-таки было неприятно. Даже домой не хотелось.

— Фуй, как нехорошо! — проговорил он, останавливаясь около фонаря.

Ему пришло в голову, что двенадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даром. Вот если бы он был работником, то знал бы цену каждой копейке и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. Да и все счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну и в сущности было для него такою же роскошью, как лекарство для здорового; если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него болели спина и грудь от работы,

то ужин, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением его жизни; теперь же все это имело какое-то странное, неопределенное значение.

— Фуй, как нехорошо! — повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак.

Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды.

— Мармеладу наелась, — сказала она и засмеялась. — Ты у наших был? — спросила она, помолчав.

— Нет, не был.

Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты, и поэтому в доме тестя было скучно.

— Вечером заходила Варя, — сказала Маня, садясь. — Она ничего не говорила, но по лицу

видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся… Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком.

— Я и теперь считаю его порядочным.

— А зачем он так дурно поступил с Варей?

— Почему же дурно? — спросил Никитин, начиная чувствовать раздражение против белого кота, который потягивался, выгнув спину. — Насколько мне известно, он предложения не делал и обещаний никаких не давал.

— А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи.

Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир… И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать…

Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый Шебалдин и проговорил с ужасом:

— Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустились!

Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь и вспомнил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал: розан.

— Розан, — пробормотал он и засмеялся.

В ответ ему под кроватью заворчала сонная Мушка:

— Ррр… нга-нга-нга…

Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение.

— Так значит, — спросил он, сдерживая себя, — если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?

— Конечно. Ты сам это отлично понимаешь.

— Мило.

И через минуту опять повторил:

— Мило.

Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки, потом полежал на полу, на ковре.

«Какой вздор! — успокаивал он себя. — Ты — педагог, работаешь на благороднейшем поприще… Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха!»

Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно, и, быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитыч был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него; он же, Никитин, подобно чеху, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, все идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина, он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что все это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой…

И в самом деле, под утро он уже смеялся над

своею нервностью и называл себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем.

На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках. Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд, и ему приятно было, что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать.

Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.

— Это хамство! — говорил он. — Так я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!

Никитин приятно улыбался и помогал Мане

угощать гостей, но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся.

Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одною рукой за шею и скажет, что подали к крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей надеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости… Но Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там на Неглинном в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины… Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»